

Иван Ммелев
**Старый
Валаам**



Иван Шмелев
Старый Валаам

«Благовест»

1935

УДК 281.9
ББК 86.372

Шмелев И. С.

Старый Валаам / И. С. Шмелев — «Благовест», 1935

ISBN 978-5-9968-0504-4

Книга известного русского писателя Ивана Шмелева «Старый Валаам» рассказывает о впечатлениях автора от посещения им известной древней обители – Валаамского монастыря, когда он был студентом, и которая дала ему твердую опору в жизни – в православной вере.

УДК 281.9

ББК 86.372

ISBN 978-5-9968-0504-4

© Шмелев И. С., 1935

© Благовест, 1935

Содержание

Введение	6
К Валааму	7
Новый мир	10
Глас в ноши	14
У о. настоятеля. – Чудеса	18
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Иван Шмелев

Солнце мертвых (сборник)



© Издательство «Благовест» – текст, оформление, оригинал-макет, 2016

Введение



В поминальном очерке «У старца Варнавы» рассказано, как сорок лет тому я, юный, двадцатилетний студент, «шатнувшийся от Церкви», избрал для свадебной поездки – случайно или неслучайно – древнюю обитель, Валаамский монастырь. Эта поездка не прошла бесследно: я вынес много впечатлений, ощущений – и вышла книжка. Эта первая моя книжка, принесшая мне и радость, и тревоги, давно разошлась по русским городам и весям. Есть ли она за рубежом – не знаю; вряд ли. Перед войной мне предлагали переиздать ее – я отказался: слишком она юна, легка. Ныне я не писал бы так; но суть осталась и донныне: светлый Валаам. За это время многое переменялось и во мне, и вне. Россия, православная Россия – где, какая?! Да и весь мир переменялся. Вспомнишь... а Троице-Сергиевская лавра, а Оптиная Пустынь? а Саров, а Соловки?! Валаам остался, уцелел. Все тот же? Говорят, все тот же. Слава Богу. Ну, конечно, кое в чем переменялся – время, новая судьба. Говорят, туристов принимает, европейцев. Это не плохо, и для него не страшно: «да светит миру». Как-то я читал в «Матэн» о Валааме. Журналист – француз, конечно, многого не понял «в Валааме», но уважением проникся. Помню, писал: «своей идее служат... мужики-монахи». Не плохо, если «мужики» идее служат. Сколько перевидал французский журналист, что может удивить его? А Валааму удивлялся. Не плохо это. Да, стал другой немножко Валаам. Но жив и ныне. Раньше – жил Россией, душой народной. Ныне – Россия не слышна, Россия не приходит, не приносит своих молитв, труда, копеек, умиления. Но он стоит и ныне, Светлый. Его не разрушают, не оскверняют, не взрывают. Суровая Финляндия к нему привыкла. Ведь и в прошлом он был в ее границах: природа их объединила. Помню, сорок лет тому «полицейский надзор» над ним держали те же финны. Валаам чужим им не был: такой же, как и они – суровый, молчаливый, стойкий, крепкий, трудовой, – крестьянский. Валаам остался на своем граните, «на луде», как говорят на Валааме, на островах, в лесах, в проливах; с колоколами, со скитами, с гранитными крестами на лесных дорогах, с великой тишиной в затишье, с гулом леса и воли в ненастье, с трудом – для Господа, «во Имя». Как и св. Афон, Валаам поныне – светит. Афон – на юге, Валаам – на севере. В сумеречное наше время, в надвинувшуюся «ночь мира», нужны маяки. Я вспомнил светлую страницу – в прошлом. Недавно, как бы в укрепление себе, узнал, что два послушника, кого я мимоходом повстречал на Валааме, пометил в книжке, совершили за эти годы подвиг. Узнал, что стали «светом миру», что они живут. Валаам дал им послушание. И вот живые нити протянулись от «ныне» – к прошлому, и это прошлое мне светит. В этом свете – тот Валаам, далекий. И я подумал, что полезно будет вспомнить и рассказать о нем: он все такой же, светлый.

К Валааму



...В половине 3-го часа утра разбудил меня звонок в коридоре гостиницы. Было еще совсем темно. Видно только, как бегут в небе тучи, то открывая, то заслоняя звезды. Очертания собора высятся над березами. Озеро гремит, шумят березы. На колокольне ударили к полунощнице. Стучат сапоги монахов по каменной дорожке – тянутся иноки к собору.

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа...

– Аминь.

– «Александр» через час отходит, – говорит брат Тихон, послушник, – с вечера еще пришел, волны берегся.

– Непокойно озеро?

– Да не так чтобы... волнисто. Большой бури не будет, а покачает.

Опять это «покачает». Из Шлиссельбурга вышли на «Петре Первом» – так трепало, что мы сошли на Коневце, отсиживались, приготавливались к Валааму. И вот теперь и на «Александре» покачает.

– Это ничего-с, – успокаивает нас брат Тихон, – для испытания вам, наше озеро дух смиряет, а потопления вам не будет, преподобный Арсений сохранит.

Я смотрю на его простоватое лицо: нет, он не шутит, он твердо верит, что «потопления не будет». Вспоминаю шуточные слова гостинника: «А потому вас и раскачало, чтобы мимо Преподобного не проезжали... вот и привелось к нему заехать... а теперь хорошо вам будет». Да будет ли? Я слышу, как накатывает море.

Идем в собор – проститься. Охватывает сырость и особый, глубинный, запах разбушевавшейся Ладоги. В небе бегут разорванные тучи. У святых ворот преп. Арсений, в схиме, благословляет нас из полутемного зала. В двери собора видны редкие огоньки свечей. Мы входим в пустынный храм и слышим проникновенный возглас служащего иеромонаха: «Услыши ны, Боже Спасителю наш, упование всех концов земли, и сущих в мори далече...» – и я вспоминаю о бурном море, – ...«и милостив, милостив буди, Владыко...» И я молюсь о милости и вспоминаю, как петербургский извозчик-хозяин, ехавший на Валаам на «Петре I», приговаривал: «Кто в море не бывал – тот Богу не молился».

Разноцветные лампы над ракой преп. Арсения Коневского мерцают сонно. Над ними, в красивых сборах, малиновая бархатная сень. Старенький, едва двигающийся монах, разинув от слабости рот, ставит обеими руками дрожащую в них свечку. Накрытый складчатой мантией, неподвижно простерся перед ракой монах в молитве. Под сводами мрак, в темноте алтаря цветными огоньками теплится седьмисвечник, а кажется мне, что стою за полунощницей на Светлый День: только тогда бывает такая тишина и сумрак. И вдруг с озера загудел грозно пароход – звал в путь. Бросив прощальный взгляд на тихие лампы над серебряной

ракой Преподобного, я пошел к выходу. «Доброго пути...» – сказал мне кто-то. Я оглянулся. На дощатом полу чернела мантия, складки закрыли голову. «Спасибо», – сказал я с чувством невидимому иноку.

Начинало светать. Старичок-гостинник уже отправил на пристань наши вещи. Мы сердечно простились с ним, расцеловались даже. – «На Валаам съездите – нас и забудете... далеко нам до Валаама». И я вспомнил, как он рассказывал с сокрушением, что не стало у них нынче схимонахов. «А каждому желательно схимонаха видеть... всякому хоть поближе быть к высокому подвигу желается». Мне жаль было этого старичка, обиженного за свою обитель, полного веры, что захочет Господь – и покажет славу обители: дарует и им подвижника.

Второй гудок. Мы сбегает под гору, к пристани. Монашек сбрасывает причал и смотрит вслед. Дальше и дальше уходит лесом поросший Коневец. На беспокойных водах поднимается огненное солнце, огромное в тумане. «Сартанлак!» – кричит штурман. Перед нами – «Чертов залив» – «Сартанлак» по-фински, куда опустилась некогда черная стая воронов, изгнанных Преподобным из-под страшного «Коня-камня», где было капище. Это глубокий залив, окаймленный лесом. Видны домики, пристань, бочки, белый маяк-игрушка на косе. Небо ясно, солнце уже в полнеба, и видно, как на водах лежит весь освещенный солнцем, покинутый нами Коневец.

Бросив на пристани ящики и бочки, «Александр» идет финским берегом. Березки, елки, каменистые косы с белыми маячками у воды. Озеро не бушует. Говорят – камни не допускают, а вот как свернем в открытое – молись Богу!

– На Валаам изволите ехать? – спрашивает краснощекий парень в лаковых сапогах и пиджаке. – Молиться... это хорошо-с. Я вот десятый раз подвигаюсь. По железной части. Великие мастерские у монахов, мы и скупаем которое железо остается, оковку из кузниц ихних, пудиков по триста. По опасному месту едем, камни невидимые, чуть прошибся капитан – прощай. Но только они не прогибаются. И потом – по священному делу едут, не для гулянок.

Я спрашивал себя: а я по какому делу? И – не знаю. Плыдем в тихих проливах, среди целой щетины «шхер». Это надводные камни, гряды, поросшие тощей елкой. В береговых утесах виднеются деревни, крытые светлой дранью, желтые тощие полоски – овес, ячмень. «Кронбор!» – кричит штурман. Деревянная «лютерова» церковь с тонким шпилем. Сумрачные финны, в куртках и крепких тяжелых сапогах, курят трубки: ни улыбки под их разухими шляпами. Кончились остановки. «Александр» поворачивает в озеро – к Валааму. До него, говорят, верст семьдесят.

Прибегают матросы, крепят паруса потуже: ветер! Черные волны будто маслом подернуты, кажутся мне расплавленным графитом. Паруса щелкают. Пароход теперь мчится, склонившись набок. Нас качает и бортом, и килем, руль взлетает и падает с треском, и вспоминаются мне качели. Старик финн, шкипер, обходит борт, что-то тревожно смотрит. Говорят, следит, как бы цепь не порвало, рулевую, «тогда куда затащит, на камушки выкинет – сушишь». Паруса рвет и щелкает. Матросы бегут крепить.

– Не Валаам ли? – спрашиваю я шкипера, что-то как будто видя.

– Нэйт Валямо... трисать вэрстэ.

Капитан высматривает в трубу. Налетает туча, сечет дождем. Теперь ничего не видно. Говорят, как бы туманом нехватило, тогда – прощай. Вон матросы уж слушать стали – не позывает ли? Что позывает? А колокола валаамские: как видимость пропадает, монахи позывают: «Сюда, в тихую пристань, к Преподобным!» Серебряный звон, хороший, ясный. Нет, не слышно серебряного звона, не синеют острова валаамские. Томительные часы проходят. Дождь переходит в ливень, визжит ветер, хлопают паруса. Богомольцы, в кучке, поют: «Не имамы иные по-мощи... не имамы иные наде-э-жды... разве Тебе, Влады-чице...»

«Валаам видать!...» – слышу я. Слава Создателю... показался! Перед нами высокий темно-зеленый остров. Пенной кипит округ него озеро-море. На гранитную стену бежит «Алек-

сандр», вот ударит! Ближе – остров дробится на острова. Видно проливы, камни, леса. Древностью веет от темных лесов и камней. Из-за скалистого мыса открылся Монастырский пролив, великолепный. Слева, совсем на отлете, каменный островок, на нем белая церковка, крест гранитный, позади – темный бор. Это маяк и скит, страж Валаама и ограда – Никольский скит. Чтимый Святитель бодрствует на водах, благословляет входящих в тихие воды монастырские, указывает путь «и сущим в мори далече».

Входим в пролив, двигаемся в отвесных скалах. На них высоко леса. Воздух смолистый, вязкий. И – тишина. Чувствуются лесные недра. Покой. Богомольцы как бы передают охватывающие их чувства. Поют: «Свете тихий, святы-ые – славы... Бессме-э-ртного Отца-а Небесного...» Сердце дрожит во мне. «В раю вот так-то... – слышится чей-то возглас. – Лучше и быть нельзя». Острый гудок катится по проливу. Отвечают ему леса и скалы. Влево, на отвесной скале, высоко, – собор. На голубых куполах, без солнца, кресты сверкают – червонным золотом. По высоченной скале лепятся клены, висят над фруктовым садом. «Са-ды у них... нигде таких нет садов!» На скале черная ниточка – решетка. Точками смотрят на пароход монахи. На соборе благовестят к вечерне. Спускается по горе повозка. На деревянной пристани встречаются богомольцы. Монахи-певчие выступили вперед и ждут.

«Воскресение Христово ви-деваше, поклонимся Святому Господу Иису-усу...» – поют на пароходе и крестятся на кресты Собора.

«Единому безгре-ешному...» – вливаются с пристани монахи и огромная масса богомольцев.

Я вижу слезы, блистающие глаза, новые лица, просветленные. Стискивает в груди восторгом. Какая сила, какой разливающийся восторг! И – чувствуется – какая связанность. Всех связала и всех ведет, и поднимает, и уносит это единое – эта общая песнь – признание – «Единому безгрешному». Все грешные, все одинаки, все притекаем, все приклоняемся. Такого не испытывалось ни от Штирнеров, ни от Спенсеров, ни от Штраусов, ни от Шекспира даже. Я чувствую – мой народ. И какой же светлый народ, какой же добрый и благостный. Не предчувствую ничего.

– Потрепало маленько, – говорит встречающий знакомец, питерский извозчик, – а мы на «Петре» чисто как по стеклу доехали. Намаялись, теперь будет утешение душе.

На пристани гранитная часовня. Перед иконой Богоматери служат благодарственный молебен. Небо дождливое. На всем – серая пелена ненастья. Но – благодатное на душе. Крепкая низкорослая лошадка быстро несет нас в гору, к величественному зданию гостиницы. На этих скалах, в лесах – такое! Не ждал, не думал. И я вспоминаю – дорогой говорили: «такие чудеса увидите!.. И все – они... все, своими трудами, и все сами, до последнего гвоздика!..»

Новый мир



Навстречу, с горы, спускаются к пароходу богомольцы. Валаам вчера праздновал Преображение Господне, было большое стечение народа: новый собор, сияющий нам крестами, – во имя Преображения. На пароходе говорили, что весь Валаам полнехонек, народу со всех краев. Я спрашиваю возницу, подростка в скуфейке, много ли богомольцев. Он не отвечает. Я спрашиваю громче; уши его краснеют, плечи чуть ежатся, но он не оборачивается, молчит. Спрашиваю еще громче, почти кричу. Уши его краснеют еще больше. Я понимаю, что он слышит... и вспоминаю, – рассказывали нам на пароходе: «Там все на послушании... не благословлено кому – от того слова не добьешься». Пожалуй, и наш возница не благословен разговаривать. Ему, видимо, хочется ответить, но он несет послушание и потому, от скромности, краснеет. Да и вид наш, пожалуй, его смущает. Мы совсем не похожи на богомольцев. Встречные больше простой народ, с котомками и мешками, или мещане-горожане, с узелками и саквояжами, народ положительный, «сурьезный», а мы – «ветром подбиты», как назвала нас на пароходе одна пожилая женщина, питерская, сказавшая про себя: «У меня сынки по торговой части, большая у нас рыбная лавка в Апраксином». И определила метко: поклажи у нас только чемоданчик, и одеты мы налегке, словно вышли «пройтись для воздуха». Жена, девочка совсем, в летней шляпке с вишенками и в «живой» тальмочке, по локоть, модной: тальмочка в круглых дырках, и через эти дырки сквозит серебристая подкладка. Я одет несколько солидней, в студенческом кителе, шинель внакидку, фуражка на ухо. Выехали из Москвы в жаркую погоду, а тут, на озере-море, «на севере», вдруг завернули холода. Женщина нас жалела: «Да как же это вас так пустили! У нас тут, милые, в августе и снежок бывает... ишь вы какие несмысленные». И всю дорогу укутывала жену платком.

Встречные богомольцы смотрят во все глаза, кажется, говорят: «Богомольцы, тоже... гулять приехали!» Я думаю смущенно: и монашенок не отвечает, и уши у него краснеют – от непристойности.

Подъезжаем к белой величественной гостинице. На ее вышке, в «гнезде», написана икона валаамских чудотворцев, преподобных Сергия и Германа. Преподобные стоят в золотых венчиках и держат свитки с Писанием. Юные глаза остро видят, и мы читаем: на левом свитке – «Братие, покоряйтесь благоверному царю...», а на правом, у преп. Германа, – «Три-Солнечный свет Правосла...» У ног Преподобных – озеро; над ними, в лазурном небе, – Преображение; за ними – между ними – белая Валаамская обитель, пониже их.

На широком каменном крыльце встречают несколько человек гостиных служек, в белобумажных подрясниках, стянутых кожаными поясами, и во главе их коренастый низенький старичок в потертой камилавке, испытующе вглядывается в нас: видно – не ожидал таких. Это «хозяин» гостиницы, о. Антипа. Взгляд его серых глаз смущает: я вспоминаю, как та женщина

опасливо говорила нам: «Вот и Бог соединил, а как бы не разлучили вас! Вас в одну келейку, а супружечку в другую. Лет тридцать тому были мы тут с покойным мужем, нас разлучили... такой уставный закон у них, старца Назария, Саровского, очень строго». Жена измучена морской болезнью, я тоже едва держусь, как же ее оставить? Это меня пугает, и я даю слово, если это случится – с первым же отсюда пароходом!

– Благослови, Господи, доброе пребывание... Дело хорошее, Преподобные радуются на вас... – ласково, но с сомнением встречает о. Антипа, а глаза смотрят строго. – Из Питера изволите?..

Взгляд испытующий. Я ожидаю в тревоге, что «разлучит». Почтительно ожидают служки.

– Нет, из Москвы... – отвечаю я и вижу общее удивление.

– Из Мо-сквы-ы?! – с сомнением говорит о. Антипа. – Сда-лѐ-ка вы... – в голосе нерешительное что-то.

Надо сказать, что московские богомольцы на Валааме редки; большинство – питерцы, псковичи, новгородцы, олончане, финны. А теперь – какие?..

Ответ не удовлетворяет мудрого о. Антипу. Пронизывая взглядом, он задает «роковой» вопрос:

– Вы кто же... братец и сестрица?..

– Нет, муж и жена!

Мой, несколько вызывающий ответ, – о юность! – производит сильное впечатление. О. Антипа озадачен, даже поправляет камилавку. Послушники – как изваяния.

– Вон кто-о..! Из Москвы, сдалека...

Он смотрит на нас над нашими головами, вдаль. Что думает? Думает ли о юных, кто перед ним, о далекой Москве, где не был, о строгом ли уставе старца Назария... или вспомнил слова молитвы – «яже Бог сопряже, человек да не разлучает»? Видно, как он колеблется. Мы растерянно смотрим и ждем решения. Но он не решает сразу.

– Минутку обождите, милые... – говорит он не строго, и в широкие двери видно, как он поспешно идет по лестнице на второй этаж. С кем-то советоваться будет?..

Мы остаемся с немymi служками. Они смотрят на наши ноги, мы на их рыжие сапоги с гвоздями. Играют часы на колокольне, кричат стрижи. Рыжие сапоги переступают. Слышится бег шагов: это о. Антипа. Он спускается с лестницы, подбирая под камилавку седые пряди, скрывается за дверью, гремит ключами... и – приказывает вести нас в келью № 27, в первом этаже, подать самоварчик, «с далекой дорожки упокоить». Чудесный, светленький старичок. Мне хочется рассказать ему... кого-то он мне напоминает, кого уже нет на свете.

Послушник берет наш чемоданчик, ведет по исхоженным беловатым плитам.

– Пожалуйте, Господи благослови... в келейку.

Чудесная келейка. Белая, светлая, узковата немножко, правда, но как чудесно! Две чистые постели. В углу икона знакомых Преподобных. Теплится розоватая лампадка. Окно – в цветник. Там георгины, астры, золотисто-малиновые бархатцы, петунии. И – тишина. Направо – собор над монастырскими кровлями, за корпусами. Прямо – дикие скалы за проливом, на них леса. Новый, чудесный мир, который встречал я в детстве, на образах, стелющийся у ног Угодников: голубые реки, синеющие моря, пригорки, белые городки, озерки, плоские и кривые сосны, похожие на исполинские зонтики, и все – под белыми облачками-кудерьками... мир, в котором живут подвижники, преподобные, неземные... – мир Ангелов и небесных человек. И этот забытый мир, отшедший куда-то с детством, – пришел, живой. Помните, в раннем детстве видали в церквях иконы с «пейзажами»? На первом плане – большой Святой, и свиток в его руке белеет над синим морем, над бурыми холмами, над городком? Таинственный мир, чудесный, детскому глазу видимый, детскому сердцу близкий.

Нам очень нравится. В келейке пахнет елеем от лампадки, свежeweымытым еловым полом, чем-то душисто-постным, черными сухарями богомолья. Вызванивают часы на колокольне и потом отбивают мерно – четыре раза.

– Молитвами Святых Отец, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй на-ас!..

Смотрю на дверь: почему же никто не входит? Опять кто-то позоывает:

– Молитвами Святых Отец... Господи Иисусе Христе Боже наш?..

Дверь тихо подается, просовывается большая книга, а за ней намащенные волосы, падающие с плеча на книгу, и вступает благообразный послушник.

– Уж извините, для порядку наставлю вас. На возглас приходящего поаминить надо, без аминя у нас не входят.

Я поражен, обрадован. Какое «уважение к личности»! Мне, студенту, не думалось встретить такое «у святошей»! Я уже разрешил вопросы о «тунеядстве монахов», о «ханжестве», о «ненужности этих пустяков». Чернышевский, Белинский, Добролюбов и все, доказавшие мне «свободу человека от этих предрассудков», такого никогда не говорили: «Без аминя у нас не входят»! Я готов горячо пожать руку этому новому учителю, но она держит книгу.

– Позвольте, запишу ваше имя-звание в гостиничную тетрадь, по полицейскому правилу... мы под финской полицией. Мы паспортов не смотрим, по виду верим... – говорит послушник. – Гостиница наша не мирская, а по благословиению от Преподобных. Нет, у нас за постой не полагается, ни за трапезу, ни за постой... что вы-с!.. Почитайте наши правила, у нас полная душе свобода. Как силы будет, так и дают, кто может, по достатку... от Преподобных уставлено.

Я – в изумлении. «Корыстные монахи»? Да что же это, почему про это не говорил ни Бебель, ни... «Как силы будет... по достатку... полная душе свобода»!..

– Студент?.. – говорит послушник, – значит, науки происходите? У нас редко они... Говорят вон, студенты... Да не надо праздное говорить. Господь с ними.

Я спрашиваю, есть ли у них подвижники и схимонахи. Десять схимонахов, обитают по всем скитам. А прозорливцы есть? Он улыбается:

– Все у нас прозорливцы: знаем, что завтра будет.

Смиренно кланяется и уходит. Почему он мне так ответил? Должно быть, показалось, что спрашиваю я из любопытства. Может быть, думает, что я не знаю, что значит – прозорливец? Не знает, что я видел прозорливца на днях, у Троицы, – батюшку Варнаву, благословившего нас «на путь». Может быть, думает – студент, все у них так, в насмешку.

– Молитвами Святых Отцов, Господи Иисусе Христе, Боже наш, по-ми-луй нас!..

Я говорю – «аминь». Послушник, новый, бухает в дверь ногой и вносит бурлящий самовар на медном подносе, с чашками. Он – простоватый, толстоносый, круглое лицо сияет, как самовар.

– Буду вам служить. А зовите меня брат Василий. Земляки мы с вами, тоже из Москвы я, с Сухаревки... посудой папаша торговали. Ну как Москва, все еще стоит, не провалилась? Как так не может провалиться? Может провалиться. Греха так много. Грешные города всегда проваливаются... Содомы – Гоморры провалились! Ну, вкушайте на здоровье.

По коридору проходят служки, напевают вполголоса стихиры. От праздника осталось много богомольцев, но их не видно: стоят вечерню. А нам снисхождение, с дороги – самоварчик.

Как мышки, тихо ложимся мы отдохнуть на каменные Валаамские постели. Глаза закроешь, и – будто укачивает в море. Отбивают часы на колокольне, и вспоминаются на пароходе «склянки». Из окошка веет вечернею прохладой, дыханием Ладоги. Сон крепкий-крепкий...

Открываю глаза... – где день? Мутно белеет занавеска, пузырится от дуновенья – вейня валаамской ночи. В шелку от занавески видно: лес за проливом смутен, небо зелено-ватобледно, точками намекают звезды. Вспоминаю, что я на Валааме, в чудесной дали. Радость

поет во мне. Тихо иду к окну, чтобы не потревожить спящую, отдергиваю тихо занавеску. Какая тишина! Темная глушь на скалах за проливом, в ней ничего не видно – острые пики елей? Где-то, чуть слышно, Ладога – еще тревожна. Это направо, у Никольского островка-скита, зоркого стража Валаама. Там, говорят, маяк. Так, говорят, Святитель – «зовет огнем». Пахнут петунии. Падают сонные удары – ... три... семь... восемь... Восемь...

– Молитвами Святых Отец, Господи Иисусе Христе Боже наш, поми-луй нас...

Это брат Василий. В келье розовый свет – от дремлющей лампадки. Брат Василий зажигает стеариновую свечку в красно-медном подсвечнике. Приносит на подносе миски.

– О. Антипа благословил, с дорожки, а то общая у нас трапеза. Завтра о. игумен как возвестит, а куда уж в келейке вкушайте.

В мисочках щи с грибами, с лавром и перчиком, каша с конопляным маслом, винегрет, посыпанный семечками тмина и укропом; стопа душистого хлеба валаамского, ломтями – черный хлеб монастырский в славе, а «валаамский» – «в преславности» – пузатый графин темно-малинового квасу.

– Отведайте нашей пищи, во славу Преподобных. Наша пища секрет имеет.

– Секрет?..

– Даже два секрета. Поначалу она не вкусна для чистого богомольца. Хлебнет, понюхает и положит ложку. А как подберется в чемодане, глядишь – и привыкает, да так привыкает, что и мыть мисочку незачем. Другой?.. А другой секрет вот какой. Поначалу с нашей пищи слабнуть начинает непривышный человек, похудает, побелеет... и тут будто что переломит в нем! Пойдет и пойдет в силу входить, и такая в нем сила объявляется... в миру не было такой силы, когда всякую снедь вкушал. Наша пища благословенная, с молитвы. Над ней песнопения поют, дух-то силу и набавляет. Сами дознаете – поживете.

10 часов. Богомольцы потрапезовали, помолились в соборе и спят давно. Монахи еще в храме, слушают правило. Собор темнеет громадой на сумеречном небе. Блистают кресты – от месяца? Дремлет суровый Валаам на камне, водами от мира огражденный. Спят леса на святых горах, укрытые скиты – по островам и дебрям. Светлеет за проливом: из-за черных еловых пик разливают сиянье месяц.

Глас в ночи



Уставши от впечатлений дня, я бездумно заснул на каменном валаамском ложе.

Резкий звонок пробудил меня на пороге глубокой ночи. Странное ощущение – тревоги, радости... что-то знакомое?.. Будто бы я в гимназии, и старик швейцар, прозванный за круглолысую голову Цезарем, возвестил радостным звонком, что латинский урок окончен и можно бежать домой. Но кто-то, таинственный, мешает... будто учитель пения, призывает на спевку – «после уроков – в зал!» И знакомое чувство – как-нибудь увильнуть от спевки, от трудного «Бортнянского», где никак мне не удастся «соло», а дома у нас, в саду, дожидается недоделанный каток – остро меня тревожит.

«Пе-нию вре-мя...» – слышится заунывный голос, – «мо-ли-тве ча-а-ас!» – и резкий звонок, за дверью, говорит мне неодолимо, что от спевки не увильнуть. И вот где-то уже поют... и как будто отец диакон церкви Николы в Толмачах, приходивший в гимназию служить панихиды и молебны с гимназическим батюшкой, почему-то грустный, уже возглашает в зале: «Господи Иисусе Христе... Бо-же наш...» – и умолкает. Я хочу спать, но о. диакон не уходит. Я чувствую, что я ему очень нужен, и он где-то стоит за дверью и ждет меня, и опять начинает возглашать: «...Поми-луй на-ас..!» И звонит, и звонит за дверью.

Сколько же лет прошло с той валаамской ночи? Со-рок лет! А я еще слышу этот звонок и возглас. Думалось ли тогда – что будет?! Думал ли я, что о. диакон от Толмачей – не простой диакон, а знаток творений Отцов Церкви и... Достоевского, что он станет иеромонахом, примет схиму, примет великий подвиг русского старчества, как о. Варнава у Троицы, как старец Амвросий Оптинский, как старец Макарий Оптинский, послужившие для Достоевского прообразом старца Зосимы в «Карамазовых»! Думал ли я тогда в прочной российской безмятежности, что придет страшная година и этот о. диакон призван будет из крепкого затвора, из Смоленско-Зосимовой пустыни, как почитаемый православной Русью подвижник иеросхимонах о. Алексей, на Всероссийский Собор, и ему выпадет высокий и строгий жребий – вынуть из-за иконы «Владимирской Богоматери» написанное на бумажке имя Святителя – Патриарха – Мученика Тихона? Думал ли я, что этот звонок и возглас о. диакона: «Время пению, молитве час», как бы приснившийся мне, станет и для меня знамением чего-то?!

Но вот кто-то, ожидающий за дверью, перестает звонить. Я слышу знакомый голос – и вспоминаю, что нет никакой гимназии, я студент, я на далеком Валааме, вчера приехал, что я женат, что будят к полунощнице и ждут от меня ответа – «аминь». На молитвенный возглас – здесь надо «поаминить». Так вчера наставлял меня послушник, и это ему, пожалуй, голос о. Антоны, гостинника, говорит негромко: «Не буди, Федор, пусть отдохнут с дороги... следуй дале».

Я слышу, как скребут по плитам коридора шаги «будильщика», печальный напев уходит дальше, звонок отдается глуше. Слышно неторопливые шаги по коридору, похлопывают двери келий, проходят богомольцы и служки, напевают вполголоса: «Се Жених грядет в полунощи...», «Заутра услыши глас мой...» Я чиркаю спичкой, смотрю на свои часы – только без пяти час... самая ночь глухая! – и слышу, как ударяют в колокол, будто Святой Ночью! Радостное во мне волнение. Все уходит, надо и мне... – но сон обрывает мысли.

Ясный голубоватый день. Бледно-голубое небо, молочные облачка, тонкие, как кисейка. На выбеленном окне веселые полоски солнца. Может быть, от далекой Ладоги, еще тревожной, бьется бойкое отражение от волн – «зайчик» на потолке. Я раскрываю окно, вижу бархатные леса на скалах, за проливом, вдыхаю воздух... – не воздух, а юность, силу, надежды, радость – вижу и чувствую, в сердце своем таю – «улыбку ясную природы». В цветнике обрызганные росой астры, свежие звезды – голубые, розовые и белые – «земные звезды», пышные георгины, темные, как церковное вино, – все освеженное росистой ночью, все бодрое и, кажется, – все святое. И в кусту отцветающего шиповника – август, а здесь еще не отцвел шиповник! Какая-то пичужка бойко высвистывает короткую песенку малого северного лета. И надо всем, свежим, светлым и радостным, – благословляющий перезвон – к «Достойно». Я делаю перед окном привычные по утрам движения – «комнатную гимнастику» – дышу и дышу, вбираю в себя крепкий настойный воздух с великих далей, с лесов и Ладоги. Такого воздуха нет нигде. Он до того прозрачен, что видно за проливом отдельные деревья, пестрые мхи на камне, трещины и «слойки»... как мотается мачта на монастырской сойме... как чертят по голубому небу черные точки ласточек... как по краю горы, над пристанью, чернью блестит на солнце чугунная решетка.

– Молитвами Святых Отец, Господи Иисусе Христе Боже наш...

Мы одеты, чего-то ждем, почему-то смущаемся высунуть нос из кельи, и возглас брата Василия восхищает нас. Я кричу радостно: «Аминь!» Брат Василий, умасленный и новый, он теперь мне напоминает молодца-лавочника, вносит... обед! А чай-то как же?

– Рано у нас обедают. Одиннадцать уж, все намолились – наработались. А чаек бывает после ранней, кому желается. Ну, может, отец гостинник и благословит чайком.

Он ставит поднос с мисками. Пахнет ужасно вкусно – будто перловый суп? Я засматриваю по мисочкам: будто и суп, и каша! Монастырская крашенная ложка, с благословляющей ручкой на стебельке, с написанным в выдолбке собором, стоит в похлебке – не падает. По винегрету рассыпаны кружочки лиловой свеклы и глянцевиные рыжички. Брат Василий выглядывает за дверь, не идет ли отец Антипа: видно, хочет поговорить, – московский!

– Хорошо спали-почивали? Это вот хорошо. Пользительный, значит, воздух... – и губы его шевелятся, хоть он и умолкает.

Я спрашиваю его, что это он все шепчет. Он почему-то запинается, но видно, что ему хочется мне ответить.

– Это и вам пользительно. От всяких забеглых мыслей и суемудрия надо творить «Иисусову молитву». Знаете?..

Я не знаю. Он говорит, раздельно: «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя грешного».

– Великая от сей молитвы сила, но надо уметь, чтобы в сердце как ручеек журчал... этого сподобляются только немногие подвижники. А мы, духовная простота, так, походя пока, в себя вбираем, навываем. Даже от единого звучанья и то может быть спасение.

Я не понимаю. Я даже спорю, что от «звучанья» не может быть спасения. Брат Василий выглядывает за дверь.

– Надо вас просветить, – вздыхая, говорит он. – По скудоумию нашему Господь снисходит, просвещает даже и звучаньем святого слова. Я уж вам поведаю, какое вразумление мне было. Вы и запомните, для назидания. В миру этого не понимают, а приехали на Валаам –

просветитесь для пользы души. Вот, как и вы, спервоначалу и я сомневаться стал. А это мне, значит, от него было искушение. Стал раздумывать, а уж он и поселился в душе, стал нашептывать: «Не молись походя, не шепчи пустой душой великое слово!» Стал я пугаться... может, это ересь во мне стала, страх-то? Пошел к своему «старцу»... Какому «старцу»-то? И это не знаете?! Обязательно должны знать, как же. Это в миру у вас все беспастушные, как овцы без пригляда, а у нас нельзя. У нас враг спасения о-чень напрягается смущать, ему в монастыре-то особенно хочется победить, а в миру-то – все под его началом. Вот, для спасения души, о. игумен каждому назначает старца, опытного в духовном делании. На всю жизнь старец назначается. А вот мы ему должны все начисто открывать, всякое помышление греховное или сомнение какое, а он и наставит. Будто всю тяготу с души на себя берет, и нам от сего облегчение, как у Христа за пазушкой. И укрепляемся против наступления врага. И пошел я к своему старцу. Мудреющий старичок, очень любвеобильный. Пришел я, а он так на меня и воззрился. И вижу я, что ему известно, что у меня в душе дух злобы гнездо вьет. И говорит мне старец: «Молись, молись, и да не усумнишься!» Будто провидел, сказал-то как: «И да не усумнишься!» Я ему в ноги пал и все ему открыл, усумнение-то мое. Он меня благословил и возвестил. Возвестил-то? А так у нас, на Валааме, всегда говорят – возвестил. Значит – приказал. «Кайся, – говорит. – И вот тебе по пятьсот поклончиков на день, за твое суемудрие. На сорокадневие. Да вот еще я тебе, говорит, во вразумление скажу одно словечко, вроде как притчу». И такую притчу сказал... сразу я проникся понятием смысла. Потому духа высокого мой старец, вроде как прозреватель.

– Какую же притчу? – спросил я, жаждавший узнавать.

– А вот какую, но только вы уж меня не искушайте, не посмейтесь. Была, говорит, у одного архиерея ученая птица, зовома «попугай», потому что красные перья на хвосте носила. И знал тот попугай многие словеса кричать, наслышан был от того архиерея. А у архиерея была привычка... строгий был архиерей... все так, как кого наставляет: «Не дерзни!» – так все говорил, и очень строго. Попугай и перенял, и полюбилось ему то слово. Все, бывало, его кричал: «Не дерзни!» И случилось тому попугаю отлететь от архиерея... ну, скажем, недосмотрел служка. И взвился тот попугай в самые небеса. А за побег послан был на его ястреб. Цап-царап его сверху, в спинку ему вцепился... Попугай как заверещит со страху, да и крикни, в полную свою глотку: «Не дерзни-и!..» Ястреб как услыха-ал человеческий голос, перепугался да со страху попугая и выпустил! Вот такая притча. Понятно, никто такого не видал, а такая притча, для вразумления. Искуситель змий, враг довечный, как ястреб стережет, и самый звук имени Господня ему престрашен. Вот он меня и смущал сомнением: «Не молись, не поминай!» Обернуть хотел: дескать, суесловлю я, легкодушно святое Имя в уме держу. И получил наставление...

– Молитвами Святых Отец, Господи Иисусе Христе Боже наш... – слышится за дверью, и на ответный «аминь» входит озабоченный о. Антипа.

– Чего застрял, суеслов? – шутливо пугнул он брата Василия, – дам вот послушание, недельку помолчать... Отдохнули с дорожки? – спросил он ласково, и его взгляд устался на блюдечко с окурком. Он вздохнул, но ничего не сказал.

Я знал от богомольцев и читал «правила» на стенке кельи, что курить в монастыре не разрешается. Я возмущался «строгостью», но признавал, что монахи имеют на *это* право: они меня не звали, я сам приехал, а «в чужой монастырь со своим уставом не суются!» Это мог бы сказать о. Антипа, но не сказал: может быть, не хотелось смущать меня. Я сказал откровенно:

– Простите, батюшка... не воздержался.

– Да-да, слабость греховная. Бывает, и лба не покрестят, как проснутся – за курево. – Я так и делал. – Да не в табачке дело, а в слабости, в плоти угождении. Воздержание первая ступень. Поотдохнули?

– Все очень хорошо, – говорю, – только жестко, бока болят.

– Же-стко?! – укоризненно посмотрел о. Антипа. – А там мягко нам будет? Перины пуховые пагуба. Тело нежится, а душа спит. А псалмопевец какой стих поет, а? Не знаете... «Человек, яко трава дние его, яко цвет сельный, тако отцветает: яко дух пройде в нем, и не будет, и не познает к тому места своего».

– Так что же тут?..

– А вот то же. Не ублажай тела, потому оно – прах, а о душе пекись. Душу-то забываем. У вас дух-то и немощен, против табачку не можете, а что уж, как поважнее что будет. Я к слову так. А теперь надо вам соблюсти устав, к отцу игумену объявиться, благословения на жительство испросить. Я и поведу вас... вы московские, а настоятель наш, игумен Гавриил, маленько московский тоже, земляки будете... вот и поведу.

– Очень рад, – говорю, – с благословения вашего, батюшка, и пойдем... – стараюсь я попасть в монастырский тон, – и чувствую, что выходит нехорошо. О. Антипа машет на меня:

– Да нет, не иеромонах я, не достоин благословлять... монах я простой, гостиничное послушание несу. Тлен, понятно, и греха много, а нельзя обители без хозяйства... вот и хозяйствуем.

После, приглядевшись к нам, о. Антипа немного приоткрылся, и я понял, что тут не послушание только, а подвиг, и трудный подвиг: о. Антипа поборол искушение: искушение, как он говорил, «принять наитруднейший подвиг».

– Какой я иеромонах буду, ежели все среди мирян в гостинице пребуду? Либо иеромонах, либо гостинник. А я попривык к делу. Ну, милостив Господь, потерпит грехам моим.

Он надевает подрясник побелее и ведет нас, «московских – диковинных», к святым воротам, к сердцу обители, к собору.

У о. настоятеля. – Чудеса



Мы проходим в монастырские ворота, которые называются – святые: над ними церковь Петра и Павла. Дальше – еще ворота. Говорю: «Как в крепости живете!» О. Антипа не понимает будто и говорит с улыбкой:

– Пустынножителям всегда надлежит в крепости пребывать. А, про камни вы разумеете... Это дело хозяйственное, строено на века. А на врага у нас крепость – Крест Господень. От врага камнем не оградишься. Крестом да крепостью духа ограждаемся.

Проходим еще ворота, и открывается «монастырский двор». Справа – великолепный собор Преображения Господня. Какой лучезарный свет! какие синие купола в лазури, золотое крестов блистанье! Всплывает, от детских лет: «Лик Его был как солнце, и ризы белы, как снег». Нет, не забыл еще. Как раз об этом рассказывал на экзамене, когда поступал в гимназию. И вот тоже 7 августа, как тогда, – такой же солнечный день, с северной крепкой свежестью – и вижу, как и тогда я видел, Преображение Господне. Только тогда был Горкин, рассказывал про «трех Спасов» и утешал: «Не робей, впустят тебя в училищу». И вот «впустили», и вот уже я студент... Милого Горкина уже нет на свете, но вот почти такой же, такой же русский и ласковый, – о. Антипа. И говорок его чуть похожий. Только не говорит – «милоч».

– А теперь, милые, проведу вас благословиться к о. игумену Гавриилу. Добрый он, не бойтесь, благословит на доброе пребывание.

«Не бойтесь»... Словно, бывало, Горкин: «Ты не робей, впустят».

Слева, против собора, блестит на солнце широкое застекленное крыльцо – вход в настоятельские кельи. Послушник, в белом подряснике, поклоном, молча, встречает нас. Чисто, крашенные полы, ковровые «дорожки», фикусы в кадочках, огромная лапистая арма. О. Антипа подходит к арме, снимает пальцем капельку с широкого копьевидного листа и говорит шепотком, благоговейно:

– Господом указано цветку сему возвещать погоду: как начинает плакать – жди дождичка. Сию армию еще о. Дамаскин сажал.

Потолок – сводами; по белым стенам – картины, разные виды валаамские, труды наезжих художников, дар за гостеприимство. А вот на портрете в раме – суровый хозяин валаамский, великий устроитель, о. Дамаскин покойный. Чтут его на Валааме крепко. Куда ни пойдешь – везде наткнешься на дела рук его и железной воли: мосты, дороги, кресты гранитные, каналы, обложенные камнем, водопровод... Возле высоких старинных часов в футляре, мерно отсчитывающих неспешное время валаамское, стоит смиренно старушка-богомолка, в лиловых лапотках. И ее примет владыка валаамский? Всякого принимают тут: «Нет у нас зрения на лица».

– Понятно, каждому свое уважение... – шепотком говорит о. Антипа. – Ина слава солнцу, ина слава луне... Ну, ее после примет, а вас я наперед проведу. Надобно мне к гостинице поскорей, да и московские вы, на вас слава далекая, а дальнему особое уважение – почет.

И серый глазок его смеется. Я спрашиваю про бледного послушника у двери, опустившего голову в печали, – почему он такой, приговоренный.

– А провинился. Это место, у притолоки, для горького покаяния. Вот и ждет послушания себе. Вы уж на него не смотрите, он и без того сокрушается. Не велик грешник... так, маленько чего ослушался.

Из соседней комнаты выходит настоятель. Старушка хочет к нему приблизиться, но о. Антипа ограждает: «Не лезь первая, тут покажи смирение – там зато будешь первая. Ты уж другажды добиваешься, я тебя знаю, а мы в первый раз».

Игумен Гавриил – настоящий властитель валаамский; высокий, крепкий, с умным взглядом добрых и светлых глаз. Говорит неспешно, плавно, видимо – думает, пойдет ли к делу. Благословляет нас. Провинившийся послушник земно кланяется ему и становится ждать у притолоки. О. Гавриил удостоивает нас чести: приглашает на чай, в гостиную. О. Антипа доволен, ласково мне мигает, словно хочет сказать: «Говорил – не бойтесь!»

Мебель гостиной – старинная, красного дерева, тяжелая: стол овальный и опять – высокие часы с курантами: помнить надо – «время пению, молитве час». Над столом картина Шишкина, писанная художником в море, «за две версты». Святые острова, дремучие леса на скалах и белый монастырь, благословляющий крестами; скит Никольский, скит Всех Святых, и над водами – чайка.

– Знаменитый Шишкин это, – говорит о. игумен, – во славу Божию здесь трудился. Художники нас не забывают, любят природу Божию. У нас и свои художники, весь собор сами расписали. У нас и школа живописная. Все посмотрите, и святыни, и мастерские наши. Из Москвы вы... А Донской монастырь вы знаете?

Господи, Донской!.. Там похоронен мой отец... и Горкин. О. игумен учился там:

– В духовном училище там учился, Москва – родная мне. И грустно улыбнулся, вспомнил.

– Благословляю вас, посмотрите все. И на лошадке можно, куда подальше. И на лодке, и на нашем парходике, по скитам.

Мы получаем благословение – «на все благое». Это здесь очень важно. Здесь без благословения ни шагу, строго.

Перед нами – собор Преображения Господня, уходит в небо высокой колокольней. Тридцать и три сажени! Синие купола горят. Гранитные колонны в окнах и у крыльца. Гранитные кресты на камне. Все опоясано гранитом. Строено на века. И все построили монахи, сами. Не верится.

– Все сами?! – спрашиваю проводника-монаха.

– Работа братии, – отвечает он смиренно. И я вспоминаю, как часто говорилось: «монахи – тунеядцы!» Да как же так? «Все, до последнего гвоздочка, сами», «Бог помог», «для Господа трудились». И все без похвальбы, смиренно. Чудеса!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.